

М и х а и л Б а р у

ИЗ ВСЕХ ОЖИДАНИЙ НА СВЕТЕ

* * *

В апреле, даже в Москве, небо которой состоит из мириад светящихся лампочек, окон и букв рекламы, бывают такие синие-синие вечера, когда только одного и хочется — мечтать. Забредешь в какой-нибудь маленький, вроде деепричастного оборота, переулок, зайдешь в крошечную забегаловку на три или пять столиков, заберешься в самый угол, и хмурый, уставший за день официант принесет тебе постное меню и в виде большого одолжения скажет, что можно заказать этот овощной салат, но с мясом и за те же деньги. Закажешь сухого красного вина и, не дожидаясь пока его принесут, закроешь глаза и станешь думать о том, что до зарплаты еще целая неделя, что дешевле было бы купить вина в магазине и пить его дома, закусывая вчерашними котлетами, о том, что раньше в мечтах видел себя капитаном королевских мушкетеров, осаждающих Ла-Рошель и спасающим прекрасных гугенотов от бесчинств гвардейцев кардинала, или пианистом, играющим на сцене большого зала консерватории изумительную нечеловеческую музыку перед сидящими в первом ряду партера красивыми и тонко чувствующими девушками, у которых глаза блестят от сладких слез, которые они в умиление проливают и которые так любят слизывать по весне мужчины, или знаменитым поэтом, получающим из прекрасных рук прекрасных тонко чувствующих девушек, уцелевших при осаде Ла-Рошели и еще не успевших осушить сладкие слезы умиления, которые они проливали на фортепианном концерте, Нобелевскую премию по литературе, или капитаном быстроходного фрегата только что взявшего на абордаж пиратскую шхуну с полным трюмом прекрасных, тонко чувствующих невольниц, с глазами, полными сладких слез благодарности, уцелевших при осаде Ла-Рошели, на фортепианном концерте, уже приготовившихся вручить мне Нобелевскую премию за спасение погибающих прекрасных деву-

шек на водах..., а теперь мечтаешь только о крыльях, на которых можно улететь отсюда к теплому морю, на берег маленькой извилистой речушки с удочкой, в садовую беседку с гамаком и самоваром, в отставку с сохранением полного пансиона и мундира, или, на худой конец, просто к чертовой матери. Тут приносят твое сухое красное, ты его выпиваешь, расплачиваешься и идешь домой закусывать вчерашними холодными котлетами.

* * *

Идешь по весенней Москве, смотришь на детей, играющих в классики, на детей, гоняющих мяч, на детей, катающихся на велосипедах, на детей, уткнувшихся в телефоны, и вдруг вспоминаешь, что лет сто не видел детей, пускающих кораблики. Уж как мы их пускали по лужам, по ручьям, по залитым талой водой канавам... Из тетрадных листов, из щепок, из спичечных коробков под парусом на мачте из разогнутой скрепки или гвоздика... Ни один кораблик не плыл до поворота ручья или до другого берега лужи — все они, обгоняя друг друга, толкаясь бортами и теряя бумажные паруса плыли в дальние страны, и мы бежали за ними, боясь отстать, отодвигая красными от ледяной воды руками мешающий мусор, ветки и камни. Вроде и лужи остались те же, и тот же в них мусор, и вода не стала суше, и дети не разучились бегать, а кораблики пускать почему-то перестали. Оно, конечно, ничего страшного — подумаешь, перестали пускать кораблики. Было бы о чем жалеть. Зато теперь... да все, что угодно теперь зато. Нынешнее детство с нашим и не сравнить, но... корабликов жалко. Точно вымер где-то в Австралии какой-нибудь сумчатый зяблик или живородящий ухогорлонос. Ты, может, и видел их только на картинках, и здесь у нас они не водятся потому, что не могут жить нигде, кроме тропиков, и все равно должны были вымереть потому, что опустынивание или заболачивание... а все равно жалко.

* * *

Дождь еще не кончился, но солнце уже выглянуло, и шустрые солнечные зайчики забегали по лужам, заскакали по голым мокрым

и блестящим веткам чубушника и заиграли внутри больших дождевых капель. В то самое мгновение, как капли собираются упасть... зайчики перескакивают в другие.

Старая, с пожелтевшими страницами книга из тех, что оседают в конце концов в разошедшихся и скрипучих дачных книжных шкафах, лежит раскрытая на столе, и весеннее полное сил солнце нагревает ее до того, что расстояния между буквами в словах увеличиваются. С края страницы даже свешиваются два слова «солдатская шинель» и «шинель» залезает крайними буквами в блюдце с кизилковым вареньем, стоящее возле чайной чашки...

Кстати, о расстояниях между буквами. Еще Тургенев в восемьсот шестьдесят восьмом году и, через три года независимо от него, Достоевский открыли, что при нагревании написанные или напечатанные на бумаге слова расширяются и могут даже расползтись в совершенно разные стороны, если бумага гладкая, мелованная. На самом деле это открыл еще Гоголь, когда жег рукопись второго тома «Мертвых душ», но никому не успел об этом рассказать. При увеличении температуры на два градуса расстояние между словами и буквами увеличивается на букву, а при увеличении на десять градусов прибавляется слово. Как правило, ничего не означающее. Поначалу этот эффект называли правилом Тургенева-Достоевского, но потом, когда Тургенев в письме к Панаеву обмолвился, что слова в романах у Достоевского и без всякого нагревания расползаются по бумаге, как нализовавшиеся собственного спирта муравьи... а Достоевский публично, на страницах «Русского вестника» написал, что в «Отцах и детях» в большинстве предложений даже при комнатной температуре каждое второе слово ничего не означает... а в ответ Тургенев вместе с Некрасовым... еще и в рифму... и тогда Достоевский в «Бесах»... а Тургенев в «Современнике»... и тут Герцен, которого никто и не думал просить, в «Колоколе»... и даже после смерти Достоевского... не говоря о Ленине, который, не предупредив Энгельса, влез в его переписку с Каутским, и... В общем, все умерли.

Снова пошел дождь... Солнце спряталось, солнечные зайчики, игравшие в каплях, упали вместе с ними и разбились вдребезги на триллионы бесцветных фотонов, а слова в книге съежились, и «солдатская шинель» с мягким знаком, испачканным в кизилковом варенье, заняла свое старое место на странице.

* * *

Ветер сырой, но теплый. Листьев еще нет, но почки полопались даже на мачте телевизионной антенны. Возле калитки повизгивает пила — там пилят штакетник и прибивают его к калитке, еще в марте изгрызенной собакой в отместку за то, что ее не пустили гулять. Пилят и отгоняют собаку, сующую нос в коробку с гвоздями и под руку. За забором колют дрова, привезенные лесником еще полтора месяца назад. Наконец-то они оттаяли. Колют и отгоняют собаку, лезущую под колун и от полноты чувств кусающую березовые чурки. В огороде вскапывают грядки под редиску, свеклу, лук-севок и отгоняют собаку, уже успевшую сожрать три маленьких луковички и нороящую покопаться во взошедшем озимом чесноке. В дальнем углу сада, пыхтя от усердия и размазывая по пухлым грязным щекам злые слезы, никак не могут забить утащенный из коробки у калитки большой гвоздь в скамейку. Собаку при этом не отгоняют. Ей даже говорят: «Сама бы попробовала» — и протягивают молоток. В скворечнике, прибитом к шесту на крыше бани, идет ремонт — заселившаяся пара дроздов уговаривает приглашенного дятла продолбить еще одно отверстие в стене и не бояться собаки, скачущей и лающей под стеной. Во двор выносят рассаду моркови. Обычно ее семена просто бросают в землю, но в этом году вырастили в золотых пластмассовых ячейках из-под бабаевских шоколадных конфет «Вдохновение». Знающие люди говорят, что из рассады, выращенной в таких ячейках, морковь получается слаще раза в два, чем обычная. Рассада похожа на обрывки тонких зеленых ниток с узелками микроскопических листиков. Садятся перед грядкой на корточки, берут чайную ложку, зачем-то вытирают ее носовым платком и аккуратно, начиная с крайней ячейки... но не успевают отогнать собаку.

* * *

Хуже всего в середине весны, когда снег почти растает, потому как надеешься, что в качестве компенсации за бесконечную зиму, за сильные морозы, сугробы по пояс, за пережитую эпидемию гриппа, за кашель и насморк, покажутся из-под слежавшегося грязного сне-

га какие-нибудь диковинные цветы вроде орхидей или лотосов, запоют райские птицы и лопата в огороде стукнет о крышку сундука с сокровищами и бочонком ямайского рома, которые зарыли пираты триста лет назад. Ну, пусть не каждый год сундук и бочонок, но хотя бы бочонок через два на третий после особенно морозных и снежных зим. Так нет же! Ничего не вытаскивает кроме пустых пивных бутылок, окурков, собачьего дерьма и каких-нибудь старых обид, про которые ты думал, что давно их забыл, а им ничего не сделалось — только чернее стали. Хоть бы микроб какой их разлагал, но нет такого микроба — еще не родился. Хуже самой пластмассовой пластмассы эти обиды. Вместо орхидей и лотосов вырастет сныть, крапива и мать-и-мачеха. Вместо райских птиц загалдят обычные грачи, а лопата вместо сундука с сокровищами стукнет о старые грабли, забытые осенью на грядке. Конечно, если немного подождать, то зацветут яблони, запоют соловьи, появятся своя редиска, укроп, за подкладкой старой куртки обнаружатся забытые пятьсот рублей и ямайский ром... пусть не бочонок, а бутылка «Зубровки»... И жизнь наладится в том смысле, что перестанешь мечтать о ерунде вроде райских птиц и орхидей с лотосами. По крайней мере до следующей весны. Вот только старые обиды...

* * *

Выйдешь утром в сад, сядешь на нагретую солнцем скамейку, разрешишь божьей коровке и маленькому зеленому жучку по себе ползать, прикроешь глаза и станешь ждать, когда зацветет яблоня, слушать, как у соседей хлопает на ветру постиранное белье, как гудит шмель, как звонко щебечет какая-то желтогрудая птичка, как на другом конце деревни дерет горло петух, тарахтит трактор и кто-то кричит «поймаю — уши оторву вместе с ногами», смотреть на то, как качают головами красные тюльпаны и желтые нарциссы, на зеленые серебристо-замшевые листочки, еще свернутые в трубочки, и думать о том, что из всех ожиданий на свете... из всех неясных, из всех робких, из таких туманных, что в них можно заблудиться, из таких сладких, что от них все слипается внутри, из таких томительных, от которых все вытягивается в тонкую ниточку и вот-вот порвется, из лихорадочных, от которых сохнет во рту, запекаются губы и не

помогают никакие жаропонижающие, из радостных, из таких больших, которые не помещаются в голове, из мучительных, из напрасных, из таких пустых, что в них нечем дышать, из равнодушных, из безнадежных... или ничего не думать, а просто ждать, когда зацветет яблоня.

